

скал уж из своих рук. И так батюшка читал Придворный Календар, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!... Он у меня в роте был сержантом!... Обоих российских орден-нов кавалер!... А давно ли мы?». . . Наконец, батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще. . .

«Добро» — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим, да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

«Не забудь, Андрей Петрович» — сказала матушка — «поклониться и от меня князю Б.; я дескать надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.»

— Что за вздор! — отвечал батюшка, нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

«Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши.»